

Юрий Васильевич Красавин

ХУТОРОК

Маленькая повесть

Попасть в него можно только так: вот если пойти в лес, к примеру, за грибами, и подступит к тебе со всех сторон непроходимое болото... Тут главное – что такие болота есть. Евгению Вадимычу достаточно было глянуть на карту, висевшую над диваном: вон хотя бы за Волгой от Московского моря до реки Медведицы на десятки километров ни одной ниточки-дороги, ни одного кружочка-селения – только штрихи, будто рябь на воде, да неверные очертания озер, безымянных и с именами: Светлое, Великое, Песчаное.

Ну, озера – это особая статья, потому что по ним можно ездить на лодке, а зимой они покрываются льдом, значит, любой берег достижим; нужны же вот именно болота, непроходимые и непроезжие в любую пору года – человек среди них живет, как на другой планете, которая недостижима. Вот эта недостижимость была главным условием и залогом того, что так, как воображалось, может свершиться и на самом деле, мечта вполне исполнима.

А это ли плохо – жить далеко ото всех! Не видеть людей, которые тебе надоели, примелькались. А надоели и примелькались, признаться, все без исключения, каждый в отдельности и общим своим присутствием за стенами ли квартиры, на улице ли, в соседних ли домах. Городок небольшой, даже незнакомые прискучили, и хоть нет с ними тягостных отношений, но они создают тоскливый фон этой обыденной жизни.

А вот отправиться бы, скажем, по грибы, а там...

Так и плывет перед глазами: редколесье, водные зеркала, затянутые ряской или покрытые стрелолистом; ряска местами вскипает ядовито-зеленой пеной, на кочках телорез с осокой да аир, да высокая колючая трава неведомого названия; а кочки шаткие, неверные: шагнешь на иную – и ухнешь в воду; топь заколыхается, запузырится, забурчит; жутковато станет от этого колыхания и бурчания, необъяснимый страх мгновенно объемлет душу и тело. Уж тут не до грибов, а лишь бы выбраться на верную дорогу к дому. Но в какую это сторону – к дому?

Если день пасмурный, немудрено и заблудиться. Бывают такие глухие дни: ветер есть, но откуда, не поймешь; и облака то ли плывут, то ли остановились и закрыли солнце наглухо, будто войлочной пеленой. Так где юг, где север? Дальний шум города затих, только ветер шелестит в осоке да в трепетных осинках. Сумерки царят посреди дня!

И вот по трясине этой бултыхаешь, бултыхаешь, поворачивая туда и сюда, - топь все глубже, глубже, все безнадежней; бредешь, а вода уже выше колен... уже по пояс!.. и нет конца-края гиблому болоту! Запах багульника дурманит голову, болотный газ поднимается из топких ям, и не от этих ли испарений да запахов уже кружится голова? Мертво все вокруг. Где-то в отдалении прокаркает ворона, а поблизости ни единой птахи, разве что сорока, пролетая высоко, засмеется над тобой, бедолагой: куда, мол, тебя болотные черти завели!

В водных зеркалах среди листьев водокраса и рдеста отражаются скелеты деревьев: хилые сосенки да робкие осинки умирают тут в ранней молодости из-за скудных условий жизни. Все они стоят криво-косо, на них тоже не обопрешься, и они не выручат в случае чего. А болотная вода тебе уже до подмышек, и вот уже по самое горло; ноги вязнут в илистом дне. Судорожно хватаешься за ломкий валежник и корневища аира, за багульник и осоку, уже в панике, уже с отчаянным криком, готовым

вырваться из горла!

И вдруг ноги нащупывают спасительную твердь. О, радость! – дно полого поднимается, скоро становится даже и не топким, а песчаным, и вода уже чиста, без ряски и гниющего лесного мусора.

И вот тут выбравшегося из трясины Евгения Вадимыча встречала громким заразительным смехом молодая женщина с тяжелым узлом волос на затылке, туго перехваченная в талии фартуком, с подошником или тазом выстиранного белья. Она смеялась, изгибаясь полным станом и приговаривая:

- А я-то... я-то испугалась: кто это... там пыхтит да фыркает? Не болотный ли дедушко?

Он сокрушенно обирал с себя опутавшие его плети рдеста, отжимал полы куртки – вода стекала зеленая от мелкой ряски или мутно-коричневая от ила. И уж полный конфуз: лягушка выпрыгивала из кармана, шлепалась на землю. Тут женщиной овладевал новый приступ веселости, а Евгений Вадимыч только улыбался смущенно:

- Заблудился вот... чуть не утонул. Гиблые у вас места.

Хотя что же тут гиблого, если стоял он на живописном бережку: сосны поднимались по пологому склону, заводи тихие...

Она замечала, что ладонь у него порезана осокой до крови, и тотчас переставала смеяться, брала его руку, озабоченно осматривала, сразу перейдя на сердечный лад:

- Ишь, угораздило его! Ну, пойдём ко мне, горе ты мое...

Да, именно так, ласково и сердечно: “Горе ты мое...”

Это была негородская женщина, с говором особенным, напевным, какой бывает только у тех, кто проживает в далекой глубинке и не испорчен телевизором да радио.

Ивовые кусты клонились с берега, тропка восходила меж папоротниками, а в папоротничках тех черничник с брусничником в россыпях ягод, ночные фиалочки-любки там и тут и никому не нужные грибы – моховики, дуплянки, а по подлеску молодые черемухи, рябины со спелыми гроздьями, еще не склеванные дроздами. Сам же лес подпирал небо высоченными стволами сосен; и воздух отстоялся лесной, смолистый, бодрый, уже без багульникового дурмана, потому и в голове у Евгения Вадимыча прояснело, и глаза стали зоркие, и на слуху даже слабый треск веточки под ногами.

Тут и день из пасмурного каким-то образом становился ведренным: солнечный свет прямыми потоками падал меж кронами сосен, высвечивая стволы и рябиновый подлесок; и небо голубело среди вершин и пухлых облаков – видно было, как величаво плывут они, откуда и куда.

- А я нынче баню топила, - говорила эта ласковая женщина, мягко ступая впереди. – И кошка у меня с утра пораньше умывалась уж так-то старательно! А ночью сон приснился: будто нашла в крапиве гнездо с куриными яйцами, да большое – десятка на два. К чему бы, думаю, этот сон? А верно говорят: яйца приснятся – это уж точно кто-то явится. Вещий был сон, надо же! Вот и не верь после этого приметам!

Шагая сзади, он отмечал, что походка у нее этакая... залюбуешься! Всякое движение – взмах ли руки, поворот ли головы, просто ли то, как она ставит ногу, - все соразмерно, в лад, как звуки музыки. Это не изломанная обувью на высоком каблуке да твердым тротуарным покрытием походка – женщина, что встретила его, ступала свободно, мягко, как-то очень легко. Столь свободно и красиво могут ходить только дикие звери... да молодые женщины.

Банька у нее старенькая, покосившаяся, с одним окошком и обомшелой кровлей; мосточек возле баньки нависал над чистой и спокойной заводью, а на глади этой – чашечки кувшинок белых на зеленых

листьях-блюдцах. Встанешь на мосточке – и НАД тобой, и ПОД тобой бездна с плывущими облаками!

Он лежал на полке, в сухом пару, когда открывалась дверь и входила эта женщина... нет-нет, не раздевая... А впрочем, иногда и обнаженная совсем. Ведь это случилось не раз: как он тонул, потом выбредал на сухой берег, как встречал ее и оказывался в баньке, куда и входила хозяйка, не жеманясь, а попросту, как жена.

- Ну, как ты тут? А вот я веничком тебя похлещу. Пару поддавай! Пар костей не ломит.

Плескала ковшиком воду на раскаленные камни – от удара горячего воздуха вздрагивала входная дверь – и веником его, веником березовым, зеленым, приговаривая:

- А уж худой-то худой, как сто лет не кормленный! Это ж до чего мужика довели! И скотина-то в хороших руках добреет, а ты, знать, в плохие руки попал. Горе ты мое...

Тело разымалось на части от горячего пара и от блаженства, а она плескала на камни, прибавляя жару. И уж совершенно изнемогшего дружески спихивала с полка. Евгений Вадимыч выбежал нагишом на мосточек, взмахнув руками, лихо кидался в бездну, всем телом разом ощущая студеность и целительную чистоту воды. Он чувствовал себя воскресшим, бодрым каждой жилочкой; плавал среди кувшинок, а эта женщина стояла возле баньки и опять смеялась:

- Ты у меня из болотного роду-племени. Вишь, лысина-то блестит! Истинно как у водяного.

Сколь ласкало ему слух это “ты у меня”! Он чувствовал себя “попавшим в хорошие руки”, и не было в этом для него ничего унижительного. Напротив! Он был избранным ею, ото всех отличенным, заслужившим любовь и ласку. Да, и любовь. А почему бы и нет!

Она и сама бесстыдно выходила на мосточек, закручивая мокрые волосы, - тут он видел ее всю, и сердце замирало, того и гляди остановится вовсе. Она отважно кидалась в студеную воду – видно, донные роднички бьют в той заводи – и оказывалась рядом с ним; он до страстного содрогания чувствовал ее близость, даже не касаясь. Если же касался, тело ее казалось ему обжигающе холодным и одновременно горячим... как-то так. Колени, груди, локти, плечи... Это была его женщина, ему принадлежащая! Одному ему.

Выходили на бережок, заворачивались в махровые простыни – хорошо-то как! - и она вела его к себе домой, что-нибудь весело рассказывая. А он и не слышал, что она говорит, только улыбался в ответ, потому что глаза ее говорили в это время другое.

А дом ее вот он, рядом, - избушка небольшая упятилась под сосны и ели; и словно бы не построена, а выросла из земли, как вырастает естественным порядком гриб-боровик.

В домике том на столе ждали гостя кушанья, давно им забытые: топленая сметана в горшке, еще горячая, с пенкой румяной; щи с костью мозговой; потрошки бараньи жареные; крупеник, истомленный в масле коровьем; хлеб домашний, караваем с хрустящей корочкой...

От сытного обеда ли, ужина ли, да после банного-то пару он и засыпал счастливо.

А проснувшись, Кузовков Евгений Вадимыч видел себя в своей небольшой квартирке, в комнате с выцветшими обоями – раньше-то дешевые обои не достать было, теперь вот лежат в магазине свободно и очень красивые, так цена какая!

Итак, он просыпался в меньшей из двух комнат-каморок, где из мебели помещался диван, платяной шкаф да столик со швейной машинкой, а больше ничего. Ну, еще два стула. Оттого, что для второго дивана тут не было места, а заменить первый на кровать вовремя не спроворили (теперь и кровать не купишь, и она не по карману), жена Татьяна спала на надувном матрасе, прямо на полу. Кузовковы уже не молоды, чтоб тешиться всю ночь в объятиях друг друга. Жена привыкла спать на полу. Ей казалось,

что это временно, однако сказано же, что временное и есть самое постоянное. Да ведь и на диване спать радости мало: с некоторых пор стала выпирать сквозь обивку сломанная металлическая пружина, и как раз в ребра спящему.

Проснешься поутру, откроешь глаза – и видишь прежде всего трещину вдоль стыка потолочных плит с высохшими дождевыми потеками. Трещину эту он, хозяин, не раз заделывал и штукатуркой и шпаклевкой, заклеивал марлечкой да подбеливал, но дом дышал, как живое существо, потому, смотря по погоде, трещина становилась то пошире, то поуже, и как ее ни заделывай, она появлялась вновь и вновь. Думается, что и от слабого землетрясения силой в один-два балла это панельное сооружение распадется, подобно карточному домику. Ладно, хоть не бывает тут землетрясений, потому и стоит дом, не разваливается, лишь подрагивает пугливо, когда мимо проезжает тяжелый грузовик или высоко в небе скоростной самолет пересечет звуковой барьер. Вот еще при сильном дожде досаждала вода; с верхнего балкона она стекала прямо в шов между бетонными наружными плитами, а потом на плиты перекрытий. Верхние соседи в этом не виноваты, они уж пытались что-то там законопатить – виной всему строители, спешившие когда-то сдать дом к очередному празднику и отрапортовать о трудовой победе высокому начальству.

А в большой комнате, где сыновья, хватило места двум старым диванам, столу письменному (уж изрезан стол перочинными ножиками и испятнан чернилами до безобразия); телевизор там, залитый в новогоднюю ночь воском да так и не отчищенный; на телевизоре аквариум без рыбок, только с водорослями; на полу книги рваные, гантели, футбольный мяч с опавшими боками, постели, собранные комом и затиснутые в угол...

Чем взрослей становились сыновья, тем грубей, независимей, хамоватей – к порядку их призвать большого труда стоило. Теперь одному пятнадцать, другому тринадцать, и уж порода явно сказывалась: не в смиренного отца оба, а в мать – у той в роду все бузотеры да горлопаны, все без царя в голове. Когда женился, как-то не приходили в голову проблемы возможной наследственности, а теперь вот стал докапываться до причин – как не вспомнить женину родню!

В Татьяне эти наследственные гены проявлялись, между прочим, в своеобразной “доброте”: вот покупает она копченую колбасу – ну и загляни в кошелек, сообрази, надо ли еще что-то! Но она непременно хочет быть доброй, потому купит еще и сыру кило... Мало того, глядишь, на последние деньги еще и окорока. Все это она, придя домой, тотчас шмяк на стол и нарезает толстыми ломтями: ешьте, мол, на здоровье.

- Слушай, ну ты хоть не сразу все, - урезонивал жену Евгений Вадимыч. – Не праздник, ведь, нынче.

- Ну да, буду я тут... трястись над этим, - в сердцах отвечала Татьяна.

- Чего хорошего – все за один присест съедим? А потом зубы на полку?

- Ну и черт с ним! Съедим, и спрашивать не будем.

- По одежке протягивай ножки, по одежке! – сердился он.

Тут и она поднимала голос:

- Ты под старость совсем сквалыгой становишься!

- Таня, капитал наш велит нам быть бережливыми, - тихо и виновато говорил он.

- Зарабатывать надо уметь, а не беречь, как Плюшкин.

Вот и весь разговор. Даже литературный пример привлечен. Сыновья при этом осуждающе смотрели на отца, но ведь и к матери они особого уважения не испытывали! Оба родителя, по их мнению, лыком шиты. Она учительница, он инженер, а зарабатывают тот и другой меньше последнего дворника с

начальным образованием.

Сыновья жили в соседнем, сопредельном пространстве, то есть по-своему. Совсем рядом, но поди-ка до них докричись, Вадику с Петькой, видимо, нравилось, что в их комнату можно заходить с улицы, не снимая обуви, и сразу ложиться на диван; иной раз, глядишь, сухие комья грязи тут и там – подмести или уж тем более помыть пол обитатели этой комнаты считали для себя делом зазорным.

- Мне легче самой убраться, чем их заставить, - тоскливо говорила жена и добавляла, - а самой-то некогда.

И он знал, что легче: если прикрикнуть на сыновей, старший не отзовется – окрысится:

- Только и знаешь ругаться! Больше ты ничего не умеешь.

В этом будет явный упрек: раз отец мало зарабатывает, значит, человек он неспособный, а потому и не должен рассчитывать на их повиновение.

Иногда сыновья приводили с собой компанию приятелей, некоторые были с отвратительно выбритыми головами и крашеными волосами, с прическами в виде петушиных гребней; компания приносила с собой магнитофон, открывала окно на улицу и врубала музыку. Именно врубала, другого слова не подберешь. От музыки этой щель в потолке становилась явно пошире, стекла дребезжали, мелкие вещи падали со стола... Как было выдержать это долго? Кажется, продлись испытание еще полчаса, и с ума можно свихнуться.

- Ну что у вас тут? – раздраженно говорил Евгений Вадимыч, входя в сыновнюю комнату; а говорить приходилось в повышенном тоне, иначе его не услышали бы. – Притон устроили? Малину?

Уж какое недовольство отражалось на их лицах в ответ на его слова! Словно он творил сущую несправедливость из-за неспособности постигнуть красоту этой музыки. Но сколь противно было видеть хотя бы то, как сидели они, разложив и развесив части своих бранных тел по подлокотникам диванов, по спинкам стульев, по полу и на столе.

- Жалко тебе? – огрызался Вадик. – Кому мы мешаем?

- Соседей пожалейте! Вы не одни в этом доме.

- Мы музыку слушаем. Пусть и они кайф ловят.

- Это не музыка, а крест для распятия! Это дыба! Это приспособление для пытки!

Компания с нарочитой ленью поднималась. Последним уходил Петька и тоже огрызался на ходу:

- Куда мы пойдем? По подъездам шататься?

Не было сил отвечать, доказывать, воспитывать...

После их ухода в квартире надолго оставался запах курева, которого Евгений Вадимыч тоже не переносил; окурки валялись в туалете, в цветочных горшках, на балконе. Оставались и припрятанные бутылки из-под пива, и воздух, возмущенный рок-музыкой, басистыми неокрепшими голосами, хамским смехом.

Что за проклятая жизнь!

Тоска была в душе, когда шел домой. Хотелось приткнуться где-нибудь, пересидеть до следующего рабочего дня. Потому как лекарство от недуга, были грезы о домике том, что упятился в сухой лесной сумрак... Герань стояла на окнах, солнечные пятна лежали на чистых половичках, белый рушник с

красными петухами висел над зеркалом, кружевная накидка на подушках; пахло там цветущей геранью, теплой печью, липовым медком, сдобным тестом... Хозяйка ступала по чистому половичку босыми ногами мягко и неслышно, приносила в решете пироги с пылу, с жару.

- Что-то нынче не задались, - говорила она озабоченно, - Боюсь, перестояло мое тесто. Да и подгорели, кажется: вишь, жарко печь натопила.

Ничего не подгорели: просто хорошо зарумянились те пироги, каждый цветом ее щекам подстать. Ах, какие пироги! С яйцом, с лучком, с гречневой кашей, с яблоками и лесной ягодой.

- Нет, нынче с грибочками, - говорила стряпуха, разламывая один из пирогов. – Прямо за огородом, на канавке два белых нашла. А в осинничке возле бани, гляжу, стоят подберезовики – веришь ли? – один к одному, восемь штук. Этакие черноголовенькие, на толстых ножках. Я их поджарила с лучком, да и в начинку. Ну-ка, гость дорогой, выручай хозяйку, ешь на здоровье.

Гость “выручал”, а беседа шла своим чередом.

- Что же, грибов нынче много? – с прашивал он с полным ртом.

- Сначала-то коровочки пошли – это как ржи заколоситься, - отвечала она. – Ну, этот слой уж к Иванову дню и пришел, разве что моховики остались да маслята, а то и коровик попадетса – я их не беру.

- Постой, что это за коровочки да коровики?

- А белые же! Мы их так зовем. Которы молоденьки – те коровки, а если шляпка снизу позеленела, ну этот дед-коровик.

- Впервые слышу, - вел свою игру Евгений Вадимыч.

- Уж потом, в августе, после Спаса-яблочного коровок да коровиков бывает ужась сколько. Ну, и подосиновиков тоже, подберезовиков – это за протокой, в березняках. Там же грузди, рыжики, волнушки...

- Грузди белые или черные? – уточнял Евгений Вадимыч, замирая сердцем.

- А толстые такие, самые настоящие. Я их прямо в кадке солю, не отваривая, и в погреб спускаю. А в маленькую кадешку – рыжики. У меня еще прошлогдних в той и в другой кадках осталось, ужотко достану...

- М-да... Красиво жить не запретишь, - качал головой Евгений Вадимыч и принимался за следующий пирожок.

- Рыжиков бывает тьма-тьмушая, - продолжала хозяйка. – Иной раз приду в Белоусово – лошинка такая за бором сосновым – их там столько, что большую корзину наберу, а они все стаями, стаями... Я с жадности-то даже разревуся: жалко оставлять, а и себе уж довольно.

Признавшись в этом, она смеялась, потом добавляла:

- А с белыми замучаюсь сушить!

Он слушал ее, как слушают волшебную сказку. В этой сказке было так много отрады, что на душе и легчало, и светлело. Они сидели рядом; он чувствовал плечом ее плечо и, чуть повернув голову, видел ее блестящие глаза, голую полную руку в коротком рукавчике, завиток волос на виске.

Хозяйка хуторка обращалась к нему попросту “Вадимыч”, и это тоже нравилось ему. Такое могла позволить себе если не жена, то очень близкая женщина, та, которая имела доступ к его сердцу, и с

которой было вот это полное сердечное согласие.

- У вас там, в городе, еда, небось, получше моей, - ревниво говорила она. – Я тут живу попросту, по-деревенски, как умею... пряники ем неписанные. А вы причиндали всякие любите, пирожное-мороженое. Так, да?

Дома у Кузовковых пироги не пеклись: Татьяна не любила стряпать. Если что-то и затевала, то отнюдь не по доброму желанию, а понуждаемая сыновьями или мужниными упреками. И если уж принималась, то непременно с ворчанием, с сердитым стуком, бряком и звяканьем.

В последнее время Евгению Вадимычу понравилось заходить в маленький частный магазинчик, что открылся недавно возле магазина большого, государственного; там, помимо всего прочего, можно было взять стакан кофе с коржиком к нему. А подавала, между прочим, женщина по имени Людмила – это была одна из тех вальяжного вида женщин, которых называют сдобными: крупная, белотелая, полнокровная, ей всегда было жарко, в любую погоду. У нее красивые руки с ямочками на локтях, и на щеках тоже ямочки, лицо этакое приветливое и всегда спокойное. Нет, она не годилась на то, чтоб поселиться в хуторке среди болот, но... какие у нее плечи!

Евгений Вадимыч заходил сюда в обеденный перерыв и всякий раз огорчался, если вместо Людмилы работала другая, пожилая уже; эта тетка была проворней, но при ней почему-то неуютно становилось в магазинчике.

А Людмила двигалась замедленно, шелкала на счетах, шевеля губами, будто говоря: “Ох, считать-то мне – нож острый!” При ней он непременно брал кофе с пирожком и, отдыхая за единственным столиком, посматривал на эту женщину с грустью, как на витрину валютного магазина: не ахти что, а все-таки недоступно.

Каждый раз с обидой неизвестно на кого ему думалось: вот ведь замужем, конечно, эта Людмила... А муж кто? Небось, какой-нибудь замызганный мужичок, который запивает по выходным дням и тискает эти белые плечи, белую грудь нечистыми лапами. А пахнет от него скверным куревом или чем-нибудь похуже.

“Нет, - снова и снова говорит он себе, - эта женщина не годна для хуторка - грузновата слишком... от хороших харчей да хорошего аппетита. В ней нет живости, огня, воодушевления. Она живет, чтобы есть, а надо наоборот: есть, чтобы жить. Жить! Вольно, свободно, не подчиняясь чьим-то прихотям, приказам, не оглядываясь на кого-то, кто над тобой начальствует, - вот что такое жить по-настоящему. А не затем, чтоб служить собственному желудку”.

Но это было несправедливо – думать о Людмиле так: ведь, было же в ней что-то, навевавшее успокоение, утишавшее досаду и раздражение. Уж наверняка мужу спокойно живется возле такой доброй крупной женщины.

“Как за каменной стеной”, - усмехаясь, думал он, следуя за нею глазами.

Конечно, она и в любовных утехх ленива да неповоротлива; уж сама не поцелует, не обнимет... но мужу покорна, податлива, пусть даже от той же лености.

Как бы там ни было, в этом магазинчике Евгений Вадимыч чувствовал себя корабликом, зашедшим в уютную гавань после долгого плавания по бурному морю. И жаль, что неловко было сидеть тут со стаканом кофе долго, и тем более неловко затевать пошлое ухаживание: как-никак летами он за сорок и уж лысина ото лба до затылка, и морщины на лбу, и резкие складки у рта, да и вообще неказист – что за ухажер! Но вина ли это, что не потерял он интерес к молодым делам?

Жена Татьяна с годами утратила женскую округлость и обрела угловатость и в фигуре, и в поведке; ей стало свойственно постоянное беспокойство, она стала нервной – по всякому поводу, даже мелкому, готова поднять крик; особенно же ее раздражали дела кухонные: тут она давала себе волю, и тут уж

лучше к ней не подходить.

Татьяну можно понять: кухня тесная, газовая плита работает кое-как - может, заржавела, а может, просто неспособна к делу со дня своего появления на свет. Слесари-газовщики, навешавшие ее, говорили обычно: “Хотите пироги испечь – ставьте другую, эта не годится”. Но сначала ему не до того было, а где теперь вот взять новую плиту? В комиссионном магазине продается, да цена ей – если не есть и не пить этак полгода или месяцев восемь, тогда только накопится нужная сумма.

В последнее время то, что творилось с ценами, способно довести до сумасшествия или до самоубийства. Не только они, Кузовковы, в отчаянии – весь городок придавлен и угнетен, будто каждый из жителей несет на плечах невидимую тяжесть, как мешок с песком или цементом. И не сбросишь с себя эту ношу, даже когда спишь.

Месяц назад в соседнем доме девушка повесилась: не могла купить сапоги, в старых ходить стыдно. Ну, что-то еще ее толкнуло. Записку, однако, оставила такую: родители, мол, обеднели вконец, а сама заработать не может, потому не хочет так жить. В записке той она прокляла жизнь, в которой все усилия идут на то лишь, чтоб наполнить собственный желудок. У нее там, в записке, было сказано резко, так что даже и не повторишь без внутреннего содрогания.

Признаться, случай этот так поразил Евгения Вадимыча с Татьяной, что они теперь уж не решились делать выговоры сыновьям за беспорядок в их комнате, за поздние возвращения домой, за школьные “подвиги” в виде двоек, прогуливания уроков и прочего. Пусть творят, что хотят, лишь бы живы были. Вот только с музыкой бум-бум-бум и блям-блям-блям, с истошными воплями их любимых рок-певцов Евгений Вадимыч примириться не мог. Легче было повеситься, чем терпеть это. А упреки, что ж, вынести можно.

- Зачем вы нас на свет родили, если не можете одеть-обуть, как следует? – спрашивал старший уже не раз.

Он спрашивал не интересу ради – нет! Упрекал. И в таком тоне, что Татьяна справедливо называла его словом “буркнуть”: не сказал, а буркнул.

- Откуда мы знали, что так будет! – пыталась она защищаться.

- Надо было знать, - огрызался сын. – Вы при социализме жили, то есть при плановом хозяйстве. Что же так плохо плановали?

- Мы вас не просили нас родить, - буркал и младший, подражая старшему.

Евгений Вадимыч в разговор обычно не вступал, сдерживался, только потирал ладонью то место в груди, куда больно стучало сердце.

А в городе новая мода пошла у молодежи: по вечерам бить витрины магазинов. Что-то в них просыпалось, в этих молодых вандалах: протест? отчаяние? озлобление? Просто швыряли камнем в стекло, которое побольше, и убегали. У каждой витрины милиционера не поставишь, а сами жители из квартир не высывались: страшно. По некоторым замечаниям той компании, которая приходила к Вадику и Петьке, можно было догадаться, что ребята каким-то образом к этому делу причастны. Если не били стекол, то уж видели и знали, кто разбойничал. Расколошматили все газетные киоски, вдребезги разнесли витрины книжного и спортивного магазинов и даже широкие окна зала бракосочетаний. Местные частники стали одевать свои торговые будочки железными листами, как в броню, а спортивный магазин уже закладывал витрины кирпичной кладкой. Впрочем, это раньше был он спортивным, а теперь в нем и банки с рыбными консервами, и перьевые подушки, и сковородки с кастрюлями. То же и в книжном.

- Вадя, если узнаю, что ты хулиганишь, пощады от меня не жди, - пригрозил Евгений Вадимыч не очень

уверенно.

- Сначала застукай на месте преступления, а потом говори про пощаду, - заявил тот в ответ. - Сходи к юристу, узнай свои права.

Сказано было таким тоном, что пришлось прикладывать ладонь к груди и поглаживать, утишая сердечную боль.

- Ты как с отцом разговариваешь? – заступилась Татьяна, заметив, что муж взялся за сердце.

- А как? Нормально, - огрызнулся сын жестким голосом.

В таких случаях Евгений Вадимыч запирался в ванне, открывал кран, чтоб ничего не слышать. Он сознавал себя слабохарактерным, безвольным, и потому тоска была в душе.

“Зачем я их родил? – думал он о сыновьях. – Что за странная прихоть у людей: производить на свет себе подобных? Насколько лучше было бы без них!”

С некоторых пор ему казалось, что он потерял сам себя. Словно лучшая его половина отделилась и исчезла, и оттого теперь нет у него, у Кузовкова Евгения Вадимыча, ни решимости, ни воли.

А ведь когда-то был орел! Ну, если не орел, то уж во всяком случае не мокрая курица. В институте учился – кто лучший танцор, ухажер, гитарист, волейболист? – Женька Кузовок! Случись драка – и в драке был неплох. А поехать куда-нибудь и уговаривать не надо: со студенческим отрядом где только не побывал! И на туркменском хлопке, и на рязанской картошке, и на астраханских арбузах. На байдарках ходили по Каме и Витиму, и по Катуню; в пещеры лазили... Во всяком предприятии он был самый заводной, самый предприимчивый. Каждое такое путешествие, каждое событие поднимало его в собственных глазах, потому и был он орел! Теперь же духом упал и дерзость утратил: даже стал как бы ниже ростом, голосом тоньше, глаза обрели собачью грусть: от завтрашнего дня уж не ждет ничего отрадного.

Укладываясь спать, он слышал, что жена ворочалась на своем надувном матрасе, шмыгала носом. К концу-то дня она выматывалась на работе так, что сил не хватало на ссоры, только на слезы. Пожалуй, лишь в слезах проявлялась ее женская сущность, а больше-то ни в чем.

- Не плачь, - сказал он, жалея ее.

- Обидно, - отозвалась она. – Маешься-маешься... все ради них, а они...

- Ты не думай об этом.

- Как же не думать! Что я завтра на стол поставлю? Мясо нынче знаешь почему? А масло сливочное? А колбаса? Две наши зарплаты сложить, да купить этих продуктов – за неделю съедим. А дальше что? Вот и варю пшеничную кашу да картошку, картошку да пшеничную кашу. А они попрекают – каково слушать!

Имея диплом преподавателя истории, она работала в детском садике; там у нее полторы ставки, значит, каждый день полторы смены отработать надо. Приходила домой охрипшая, усталая – целый день на ногах!

Да ведь и он тоже поздно возвращался домой, и у него работа – не сахар. И лихорадило то, что на его заводе третий месяц не выдавали зарплату, к тому же всех будоражили слухи: вот-вот сокращение грядет.

- Не думай об этом, - повторил он, вздыхая.

- Я удивляюсь на тебя, Женя: ты какой-то спокойный.

- А кабы мне за беспокойство деньги платили, я б только и делал, что беспокоился.

- Не платят, ты и спишь крепко?

- У меня снотворное, - сказал он и признался, ее жалея, словно поделился последним. – Я вот лягу и представлю себе... будто пошел в лес за грибами да и заблудился. Обступили меня болота со всех сторон!.. И уж тонуть начал – никак не выберусь! Но – выбрел на сухое. А тут, на берегу, женщина стоит и смеется, глядя на меня, облепленного тиной. Встречает, будто знакомого.

- А женщина эта с тонкой талией и широкими бедрами, - хмыкнула Татьяна.

- Ну!

- И что потом?

- А потом... Представь, живет она на острове, этаким хуторочек, и нет к ней ниоткуда пути, ни по воде, ни по суку. Это вот примерно между Волгой и Медведицей – там болотный край. Не знает она ни телевизора, ни газет с этими гнусными политическими новостями и знать не хочет. Ей дела нет, кто и где и с кем воюет, кто нынче правит нашим государством, где озоновая дыра образовалась, какие цены на рынке... Она просто живет! Радуетя жизни. Домик у нее, рядом береза со скворечником, огород, сарай с сеном...

- Коровушка с теленочком, свинья с поросеночком...

- Да. Коровка рыжая, как солнышко, и теленок ей в масть. В криночках молоко настаивается – сметана будет, простокваша, творог... и каждый день парное молоко, утром, в обед и вечером.

Хм, прямо-таки волшебные слова: сметана, творог, простокваша... как заклинание.

- Вот я криночку выпью да и усну, - заключил Евгений Вадимыч, словно песню оборвал на полуслове.

- Ты неплохо устроился, - подумав, сказала Татьяна мирным голосом и замолчала.

Он решил, что жена уснула, но она вдруг спросила тихонько:

- Жень... А улы у нее есть?

- Есть... в огороде шесть штук и еще где-то в лесу столько же, - помолчал и добавил. – Там липы много... целая роща. В кладовке мед по сортам хранится: липовый, гречишный, цветочный...

- Хочу липового, - сказала Татьяна. – В школе у меня подруга была, дед у нее улы держал. Помню, пришли мы к нему, он и достал для нас рамочку. Вот как сейчас вижу... и во рту сладко.

А он вышел на тесовое крылечко, этакое покривившееся, ступеньки шевелились под ногами. Как так – непорядок! Взял топор, клинышек вытесал, забил – вот теперь крепкой стала ступенька. За нею тем же манером и вторую, и третью. Огляделся – за крыльцом жерди, доски, тачка с обломанной рукояткой. Осмотрел эту тачку, мастеровито вытесал, прибил новую рукоятку, придирчиво осмотрел свою работу и остался доволен: крепко! Под старой березой столик был врыт, но одна ножка подломилась – он и это живо поправил – приладил новую ножку.

И тотчас еще дело нашел: калитка огородная совсем хила, по земле чертит, когда открываешь-закрываешь. За час работы, а вернее за три минуты, смотря каким временем мерить, смастерил калиточку – загляденье. Навесил ее, смазал петли ржавые, чтоб не скрипели, несколько раз открывал-

закрывал – порядок!

Хозяйка мимо прошла, похвалила:

- Вот что значит мужик в хозяйстве появился!

Ему стало лестно от этой похвалы, даже плечи расправил. Прошелся вдоль изгороди, оглядел ее критически, пошатал столбы, и опять за дело: в лесу вырубал сухостоинки – молодые елочки, не дожившие срока, - из них хорошие колышки получались; приносил по полсотне за раз – ставил новую изгородь вместо прежней.

- Да отдохни ты! – уговаривала хозяйка, но так, ради похвалы. – Ишь, какой непоседа! Моих дел не переделаешь.

Как ее звали, эту женщину, что ходила мимо, овеая его подолом широкой юбки? Наверно, какое-нибудь простое имя...

- А как тут у вас насчет рыбы? – спросил он. – Водится или нет?

- А ты к озеру сходи под вечер, послушай, как бултыхает, - живо отозвалась она. – Там и судак, и щука... Я- то в этом деле не смыслю – ни разу не лавливала. А тут вон даже возле баньки нашей окуни плотву гоняют.

“Сети сплету, - подумал Евгений Вадимыч. – Крупноячеистую поставлю на озере, а в заводи можно парочку “телевизоров” поставить... Утром проверил да вечером – десяток-другой окуней на уху...”

- Женя, а как ее зовут? – слышался шепот.

- Кого?

- А вот женщину эту?

- Не знаю.

- Наверно, какое-нибудь деревенское имя, - вздохнула Татьяна.

- Да уж у нас с тобой городские! – отвечал он ревниво.

А изгородь уже радовала его взор: и столбы в свежих затесях, и колышки ровные – получалось прочно, надежно, празднично. Он видел, что и крыша дома стара, и журавль колодца покосился, и оглобля у телеги сломана, и бочка в огороде разохлась, и лемех у плуга затупился – значит, надо дранку щепать, столярничать, оттягивать лемеха в кузне, набивать обручи... Обилие этих истинно мужских дел радовало его и воодушевляло настолько, что хоть сейчас топор в руки да и за работу.

- Я б сама у нее пожила маленько, - тихо говорила жена для себя самой. – Господи! Разу не пришлось ни у кого всласть погостить. Хорошо-то как: тебе готовят... собирают на стол... потчуют и тем, и сем... посуду моют. А ты сидишь себе барыней! Уж я б там отдохнула... за все эти годы. А то ведь просвету не знала.

Сыновья за стенкой бубнили что-то свое, кажется, ссорились, а у родителей в маленькой каморке было тихо и мирно, даже благостно.

- Жень, я иной раз подумаю: как нам с тобой в жизни не повезло! Ни у меня матери или ласковой свекрови, ни у тебя тещи или какой-нибудь доброй тетки или бабки. Чтоб поехали мы с тобой, а нас встретили, приветили... Ах, я б погостила... у этой женщины твоей на хуторке.

Евгений Вадимыч слушал, немного досадуя: какого черта жена с ним увязалась! Одно дело – если он там один, и совсем другое – если с женой. Сразу исчезли романтический туманец, окутывавший дом и хуторок, и остров посреди непроходимых болот.

- Тебе туда не добраться, - сказал он. – Болотина там гиблая на много километров. Даже зимой трясина дышит, и по льду не пройдешь, не бывает льда. Только самолетом... и потом прыгать с парашютом.

- Как же она там оказалась? Прошла же... и корову провела. Небось, и не одну только корову.

- Наверно, это было давно. Я думаю, ее деды-прадеды поселились там когда-то. Может, случилась особо суровая зима, болота сковало льдом, вот и добрались. Она выросла на острове и живет-поживает, ни в чем особо-то не нуждается.

- Как интересно! – вздыхала жена, засыпая.

А он по-хозяйски прохаживался по огороду – на грядках морковка кудрявилась, лучок прыснул длинными стрелами, огурчики уже завязались – торчат тут и там, держа на зеленых боках капельки росы. И подсолнухи цветут, и укропчик благоухает, и вишенки спеют, и... да чего там! Все есть, как тому и быть должно.

- Таня! – позвал он тихонько, желая поделиться новыми подробностями.

Но жена не отозвалась, спала сладко.

За грядками, между прочим, оказался обширный участок с картошкой, уже пестреющей белыми и фиолетовыми цветочками, Евгений Вадимыч взялся ее окучивать.

- Тут я пораньше посадила, - сказала женщина, появляясь рядом с ним; и пахло от нее молоком парным, тестом сдобным, телом ее молодым... - А за огородом у меня еще разделана большая полоса. Земля там подзолистая, картошечка низкорослая, но, знаешь, урожай неплохой бывает. В прошлом году и в позапрошлом по двести ведер накапывала я – для поросят.

Он знал, что их у нее не меньше трех, разного возраста, а еще и овец с десятков – тут же неподалеку гуляли; и теленок на них смотрел из-за изгороди.

- Землю известковать надо, - посоветовал Евгений Вадимыч, имея ввиду тот участок, что за огородом, а сам при этом волновался неведомо отчего. – И потом еще вот что: боровки картофельные ты неправильно расположила – их надо с севера на юг ориентировать, чтоб солнце за день прогревало с обеих боков.

- Ишь как! – удивлением своим она будто похвалила его. – Откуда тебе-то ведомо? Ты ж городской!

- Каждый мужик в пределах своей мужской профессии должен знать и уметь все: и картошку сажать, и изгородь ставить, и ребятишек сочинять.

Она так славно засмеялась! И смехом своим окрасила некоторую неловкость его суждения.

На том лугу, где теленок гулял, стояли невысокие стога.

- Сено в копны класть – одной-то несподручно, - пожаловалась она. – Да хоть чего возьми! Одна и есть одна.

Он согласно кивнул: да уж, мол, что и говорить, в одиночку и птица не живет.

- Мужика не хватает в моем хозяйстве, - заключила она и смутилась.

- Это верно, - отозвался он. – Ну, ничего. Сено мы перекладем, в больших стогах оно сохраннее.

Говорил это, а сам не мог отвести от нее взгляда: голые руки и плечи этой женщины покрыты были ровным загаром, голова на полной шее горделиво откинута назад, словно бы от тяжести волос.

- Как тебя зовут?

- Мила.

Мила... Какое славное имя! Оно как раз для женщины с ямочками на локотках, с доверчивым взглядом больших синих глаз...

- Жень! – слышалось с надувного матраца, так что он вздрогнул.

Татьяна переворачивалась на другой бок, шурша своим матрацем.

- Чего тебе? – отозвался он. – Не спится?

- Да уж уснула, и вот приснилось, будто я и вправду... Она, что же, совсем одна живет?

- Одна.... Весь и хуторок – только этот дом да два сарая, да колодец с журавлем, да банька на берегу.

- И никого там больше нет?

- Нету.

Татьяна затихла, а через несколько минут опять подала голос:

- Как хорошо! Живешь в лесу – ни тебе шуму, ни гаму, ни гвалту.

- Тихо там, - доверчиво подтвердил Евгений Вадимыч. – И летом, и зимой.

- Какая смелая! Надо же, никого не боится, даже вот мужика, который из болота вылез.

Тут уже слышалась легкая насмешка над ним. Но он не обиделся.

- Меня ли бояться! Я смирный. Да она в случае чего оплеуху отвесит – на ногах не устоишь.

- Никого ей не нужно, - размышляла вслух Татьяна. – Как отрадно-то! Тишина... петух поет по утрам. Кукушечка кукует.

Голос у нее был сонный, вот-вот опять отплывет.

- Зато магазинов нету, - подсказал он, желая отпугнуть жену от заветного острова, как постороннего человека от грибного места. – И рынка тоже.

- А зачем ей это? – тотчас возразила Татьяна. – У нее все свое: и молоко, и мясо, и овощи.

- Заболеешь – “скорую” уж не вызовешь. И сама в поликлинику не пойдешь.

- Да на черта ей доктора! Она от такой жизни здорова.

- Скучно там, - подсказал он.

- Это разве что с непривычки. А если постоянно там жить, нисколько не скучно. У нее ж корова, и

теленочек – с ними наговоришься, оно и повадно. Небось, и собака есть.

- Есть.

- Я б хотела, чтоб это лаечка была. Я люблю лаек.

- Тихо там, - опять повторил он. – Коростель кричит, пеночка поет, зяблик посвистывает.

Та пеночка и тот зяблик словно бы запели и в квартире у Кузовковых. И шум лесной донесло сквозь стены. И запахло сосновой смолой, багульником, сеном...

- Жень, а кошка у нее есть?

- Конечно. Где это ты видела, чтоб в деревенском доме не было кошки? Гуляет там с котятками.

- Откуда котятки, Жень, если кота нету? Да и корова будет яловой без быка, и все-прочее. Тут что-то ты не додумал.

Он сказал, как бы размышляя вслух:

- Наверно, неподалеку еще остров есть, и там другой хуторок.

Объяснение вполне удовлетворило Татьяну.

- Хорошо-то как! – сказала она и почмокала губами, будто меду с ложечки приняла. – Слушай, а ты с этой женщиной... в каких отношениях?

Спросила, и слышно, что улыбается.

- Небось, на всю ночь остаешься?

Нет, это она не из-за ревности. Просто любопытно ей, далеко ли заходит муж в воображаемой игре.

- А я только до пирогов добираюсь и на этом сразу засыпаю, - сказал он и тоже улыбнулся.

- Этак-то она тебя намахает, - хмыкнула Татьяна. – Тоже мне! Пришел к молодой красивой женщине, поел и уснул. Мне стыдно за тебя, Жень!

- Да ладно, - благодушно отозвался он.

Каждый день приносил череду неприятностей, и не было этому конца. То в замочную скважину ребятишки засунули спичку и ключ не входил; то в лифте кто-то нарисовал похабщину; то вывинтили электрическую лампочку на лестничной площадке и тут стало темно – они теперь дорогие, эти лампочки, вот и воруют их; то, глядишь, кто-то накидал у двери яичной скорлупы...

Случались неприятности и покрупнее: вдруг погас экран телевизора и звук пропал... Евгений Вадимыч проверил предохранители – так и есть, перегорели. Сменил – они тотчас перегорели снова. Купил еще пару, поставил – результат тот же: значит, что-то серьезное. Вызвал мастера – пришли сразу двое, толстый и худенький, оба в подпитии. Толстый открыл крышку телевизора, его товарищ стал ковыряться, должно быть не попадая отверткой, куда надо, потому что слышалось:

- Ты что, сдурел?

“Раскурочат они мне телевизор”, - запоздало спохватился Евгений Вадимыч.

Но мастера с делом справились в пять минут: что-то там припаяли, на экране четко обозначилась

“картинка”. И звук обрел себя. Толстый обратился к Евгению Вадимычу:

- Ну, мужик, тебе как лучше: или мы напишем ремонту на четыре сотни, или ты нам поставишь две бутылки водки.

“Четыре сотни! – похолодел хозяин телевизора. – Да у меня месячный заработок не больше двух тысяч”.

- Лучше водочки, верно? – развязно подмигнул толстый. – Посидим, покалякаем, выпьешь с нами.

- Я не пью, - сказал Евгений Вадимыч виновато.

- Да и мы не пьем! Так, ради знакомства с хорошим человеком. Пару бутылок на троих – это немного.

Худенький был совестливее, сказал тихо:

- Да ладно тебе, Сань, одной хватит. Тут и делов-то было...

- А соображенья сколько потратили? – нахраписто заявил его товарищ. – По-твоему, мозговая работа ничего не стоит? Или мы с тобой по институту не закончили, скажи? Да мы все логарифмы по периметру прошли! Это что, пустяк? Пусть платит!

- Да ладно, Сань.

- Ну, хорошо. Давай, мужик, один пузырь и закуски нам собери.

Евгений Вадимыч мысленно прикинул: бутылка водки стоит двести рублей, а заартачишься – придется платить четыреста. Они, ведь, действительно, могут “написать ремонту” сколько захотят. Чего и не было, да было! Вздохнул, добыл спрятанную поллитровку, выкупленную еще по талонам прошлой зимой: сам он как-то не имел склонности к выпивке, потому и хранилось долго.

И сидел он с этими телемастерами, страдая от их постоянного “Слушай сюда, мужик”! и от того, что в качестве закуски на столе была лишь тарелка с макаронами; слушал их пьяный треп, изображая заинтересованность. А куда денешься! Приходилось терпеть. А то ведь в следующий раз могут и вовсе не прийти. Скажут: это, мол, тот жмот, с которым ни выпить, ни поговорить.

Худенький жалобился: опять, мол, жена ругать будет, домой хоть не являйся.

- Спросит: денег принес? А что я принесу, если куда ни приди – ставят водку...

Хозяину почудился в этом упрек: не дал денег, спаивает, как и все. Но ведь они же сами предложили!

- Ты поплачь, - поддразнивал толстый, хлопая напарника по спине.

А тому хотелось душевно поговорить.

- У меня, мужики, одна отрада: сяду на велосипед и уеду на дачку свою. Там хорошо... топориком тешу, что-нибудь приколачиваю.

- Хорошая дача? – сочувственно спрашивал Евгений Вадимыч.

- Да так, с собачью конуру... Зато тихо, никто не ругается. Если б не дачка, не знаю, как бы я жил. Жена загрызла бы... только там и спасаюсь...

- Ишь, дал волю бабе! – шумел толстый; он водку пил, как воду, даже не морщась. – Не-ет, у меня не

вякнет. Лишь бы домой пришел. А то ведь я могу и заночевать где-нибудь... Я иногда, это самое...

Он старательно подмигивал: вы, мол, понимаете? У него, мол, есть кое-кто на стороне.

- А касательно того, что для души, - у меня гараж. Вот там я, мужики, как на курорте. Машина старенькая, уж не бегают, зато ремонту требует много. Я ее холю-лелею, тачку эту. Сидишь, что-нибудь подтачиваешь, подкручиваешь... радио играет, бензинчиком воняет... в шкафу водочка стоит, стаканчик, бутербродик... а сон сморил – на топчан вальнулся и храпака минуточек на двести-триста. Хорошо!

Он опять хлопал напарника по плечу:

- Юра! Сейчас пойдем ко мне в гараж. У меня там осталось.

А того уж развезло.

- Не-ет... Я на дачу к себе.

“Тоже живут, как рыба подо льдом, - невесело размышлял хозяин. – Хорошо, когда есть маленькая отдушина...”

- Ребята, - говорил он, подлаживаясь под хамский тон собеседников, - а почему бы вам не начать собственное дело? Откроете мастерскую, будет своя клиентура, конкурентов одолеете качественным обслуживанием, приветливостью...

- А на хрена козе баян? – тотчас возразил толстяк. – Нам и так хорошо. Верно, Юр?

- Деньги будете грести лопатой! – убеждал Евгений Вадимыч. – Сами себе хозяева – чего лучше! Это ли не свобода! А главное – так интересней жить!

Они ему в ответ, как неразумному:

- А запчасти где возьмем? Так-то нам поступают централизованно. Мало, не хватает, – пусть у начальства голова болит, где достать. А наше дело телячье: есть запчасти, – работаем, нету – гуляем.

- А вы найдете! Наладите связи...

- Да ну! Или мы плохо живем? Скажи, Юр! Пока у вас есть телевизоры, мы всегда будем желанными гостями. Вы и позовете, и приветите, и в глаза будете заглядывать просительно, и водки нальете сколько нам надо. Что, разве не так?

- Так, так, - покорно кивал головой Евгений Вадимыч.

- Ты не обижайся, мужик: если овец не стричь, они шерстью зарастут и вовсе одичают. На то и волк в лесу, чтоб карась не дремал. Понял?

Они были несокрушимы со своей логикой.

- Ты-то сам чем занимаешься? – спросил толстый. – Или только советовать? У нас страна советов! Открывай свое дело, коли такой умный.

- Я мастером на заводе, - объяснил Евгений Вадимыч. – Мы опоры высоковольтные делаем, на этом частный бизнес не откроешь.

- А ты в заборе дырку проломи да и торгуй этими опорами. Их дачники-умельцы, вон вроде Юры, для

теплиц приспособят.

Тут они оба долго хохотали, а Евгений Вадимыч сидел грустный, унылый.

В этот день, между прочим, он получил письмо от брата. Тот жил далеко и писал редко, но теперь вдруг стал потчевать посланиями одно другого тревожней. Старший извещал младшего, что у них в Кабарде стало припекать: вот-вот стрелять начнут. Так что пора сматываться отсюда и как можно скорее. Неизвестно, ведь, как повернется все далее; не исключено, что вслед за Осетией и Абхазией зоной военных действий станет и Кабарда.

Брат жил там лет тридцать, своими руками выстроил себе дом двухэтажный с огромным подвалом, возвел гараж и хозяйственные постройки – все из кирпича да камня; развел гусей и кур, держал десяток или больше свиней; у него был хороший сад-огород – все это хозяйство приносило немалый доход и позволило старшему достигнуть такого уровня материального благополучия, до которого младшему далеко.

А теперь вот Борис Вадимыч писал, что свиней ему держать запретили, поскольку-де это оскорбляет чувства правоверных кабардинцев, и окна раза два били, и подметные записки подбрасывали: уезжай, мол, русский, в свою Россию, иначе дом подожжем, хозяйство разорим, дочку украдем и увезем в горы...

Государственная власть ослабла, защиты искать не у кого, а последние события в столице Кабарды еще более встревожили брата: национальное движение там нарастало.

“Продадим все и приедем, - бодро извещал он. – Поживем у тебя месяц-другой, пока не купим себе жильё”.

“Интересно, как он это себе представляет – “поживем у тебя”, - встревожено размышлял Евгений Вадимыч. – Он что, никогда не бывал в двухкомнатной квартире панельного дома? Где тут спать уложить? Как за стол усадить? Не один, ведь, приедет, а с семьей – жена, дочь-школьница”.

Евгений Вадимыч представил себе, как Татьяна мгновенно взвизгнет, едва только узнает о содержании письма... как сыновья изобразят на лицах крайнее недовольство и что скажут...

Тоска опять охватила его. Одно утешение было – отправиться на хуторок, как отправились эти Юра и Саня, один – в гараж, другой – на дачку.

На этот раз он добирался туда несколько дней, уже посуху, с тяжелым рюкзаком за плечами, по берегу дикой, совершенно безлюдной реки, заросшей дремучим лесом. На ночь ставил палаточку и сам засыпал под дальний медвежий рев и ближнее хрюканье кабаньего стада. Утром вставал, кипятил чай в котелке и, напившись, шел дальше. Расчет был такой: чем тяжелее путь, тем укромней хуторок и тем радостнее встреча. Всяческие испытания в пути уж непременно искупятся сторицей, а раз так, то вот тебе и дождь, и бурелом, и овраги, и комары.

То был совершенно безлюдный край, с непугаными зверями и птицами, с ручьями, в которых рыба клевала даже на пустой крючок. Стояло жаркое лето, когда вечерами в низинках слоился туман и кричал коростель. Путник был уже измучен дальней дорогой, когда в дебрях лесных, глазам своим не веря, наткнулся вдруг на изгородь, на которой калились под солнышком надетые на колья кринки и горшки. Тропинка вела к дому с тесовой крышей, где у крыльца самовар дымил, а в распахнутые окна выглядывала герань.

Кошка, сидевшая на завалинке, смотрела на подходившего путника; собака вышла из конуры, дружелюбно виляя хвостом; куры под хозяйственным окном красавца-петуха рылись в навозной куче.

Евгений Вадимыч сбросил тяжеленный рюкзак, устало опустился возле стола, врытого в землю под старой березой, положил на него руки, глубоко и облегченно вздохнул, оглядываясь. Да, это тот самый

домик, что так укромно упрятился задом в лес, так потаенно расположился тут – можно пройти мимо и не заметить.

Стукнула дверь, на крыльцо вышла хозяйка и замерла в испуге. Но тотчас обрадовалась, просияв лицом.

- Здравствуй, - сказал он ей.

- Здравствуй, - отвечала она и коротким жестом поправила волосы.

- Значит, так: чугунок со щами носи прямо сюда... и горшок каши гречневой томленной тоже.

- Эва как! – сказала она, сдерживая смех. – Хозяин явился.

- Чесночку ко щам и сметанки, - продолжал он. – Хлеба носи всю ковригу, сам отрежу.

Она покачала головой, прямо-таки польщенная его нахальством.

- Да уж заходи в дом, чего ж на улице-то!

- Нет, хочу здесь, на вольном воздухе.

Она стала выносить то, что он ей велел, каждый раз взглядывая на него так, что сердце обмирало. Щей налила в большую глиняную плошку, деревянную ложку подала.... По-хозяйски, прижимая ковригу к груди, отрезал он ломоть хлеба толстый, головой кивнул:

- Садись, чего стоишь?

- Спасибо... обедала уже. Ты ешь, ешь... горе ты мое.

И валенком дырявым, как мехами, стала раздувать угли в самоваре.

Тут неожиданно появилась еще одна женщина, того же возраста и того же деревенского склада, увидела сидящего за столом, замерла на полушаге.

- Ой, а кто это у тебя!?

- Да вот... гость забрел откуда-то, - отвечала Мила со сдерживаемым смехом. – Не ждала и не гадала, а он явился и сразу чугунок со щами затребовал.

И встали они обе бок-о-бок, эти подруги, сложив руки на груди, смотрели на него насмешливо, а он степенно хлебал.

- На лешего маленько похож, - говорила соседка.

- Где ты видела таких леших?

- Вот теперь вижу.

- За погляд деньги берут.

- Ты спросила хоть, откуда он и куда идет?

- Что мне за дело! Вишь, как проголодался – значит, издалека. Я вчерашнего дня не ворошу – радуюсь нынешнему.

- Слушай, а зачем он тебе?

- Для повады! Вот расскажет, где был да что видел.

Так вот они о нем говорили, поталкивая друг дружку локтями.

- А не будет от него никакого толку, - сказала соседка, подумав, и засмеялась. – Сорока годов мужик – не мужик. Одно название.

- Ой, да ну тебя! – покраснела Мила. – Совсем ты обессовестилась.

- Тебе, подруга, для повады ребятишек надо заводить. А этот сможет ли?

- Африканских страстей не обещаю, но ребятишек... хоть десяток! – степенно изрек Евгений Вадимыч.
– Дурачье дело не хитрое.

И принялся за мозговую кость.

- Тогда вот чего: отдай его мне, - то ли шутя, то ли всерьез стала уговаривать соседка. – К тебе потом парень молодой из леса выйдет. А уж с этим я как-нибудь перезимую...

Но Мила решительно выпроводила соседку и сказала:

- Ты ее не суди строго. Она ведь только на язык смелая.

- Я так и понял, - кивнул Евгений Вадимыч.

- Мужа у нее прошлой зимой медведь задрал.

- А твоего? Тоже задрал?

- Я замужем не была.

- Что ж так?

- Откуда тут женихам взяться! В лесу живем, на сто верст вокруг лес да лес. В нашем хуторке всего три человека: еще бабушка Анисья на Лебяжьей косе, да вот Аня... Анин дом чуть дальше, возле ручья. Ты мог бы и к ней выйти, а не ко мне.

- Нет, - сказал Евгений Вадимыч и головой покачал. – Этого не могло быть. Я к тебе шел, только к тебе.

Он встал из-за стола, чувствуя себя отдохнувшим, и нетерпеливо отправился осматривать хозяйство, отмечая глазами всякий непорядок; руки просили работы, и он брался за дело, мастера то и это, при ласковых похвалах молодой женщины.

А потом наступил вечер. Евгений Вадимыч уже в сумерках сидел на ступеньках крыльца и слушал, как она доит корову. Комарики пели, из огорода веяло запахом черной смородины, первые звезды проявлялись на небе. Мила подошла с ведром парного молока в сопровождении кошки, которая ластилась у ее ног.

В полутьме, при отсветах загадочных зарниц, ужинали.

А потом хозяйка разбила широкую постель.... И уж в полной темноте, лежа на жаркой перине, он осознавал совершающееся: вот она раздевается, эта женщина, вот кровать мягко продавилась, когда она села на край ее, и вот рядом – ее дыхание, биение ее сердца... Восторженный ужас владел Евгением

Вадимычем, как при волшебном сне, оттого, что она так близко.

Однажды, спохватясь, подумал о себе с укором: “А что это я, в самом деле, в моих заветных мечтах только о еде да о бабе... только о бабе да еде? Какое я все-таки примитивное создание!”

Фантазия дальше не шла: трудная дорога, радостная встреча, хозяйская работа возле дома. Он ходил, в сущности, по одной и той же стежке: через те или иные испытания – к отрадному концу, когда уже проваливался в сон. Но отрада-то, отрада-то в чем? Ничего больше-то и не хотелось, только чтоб тихий хуторок и ласковая женщина.

“Так ведь опять будет то же, что с Татьяной! Ну, народим детей, и вырастут еще двое-трое вот таких оболтусов, как мои. То-то радости от них!”

И сам же себе возражал:

“Нет, там они с раннего детства втянутся в хлопоты по хозяйству: огород копать, за скотиной ухаживать... в лес с топором, на озеро с сетью... косить и стога метать, пахать и сеять, жать и молотить. Это здесь они лоботрясничают, не знают, чем занять себя, а там-то была бы у них нормальная, здоровая и такая красивая жизнь! Ведь природа облагораживает человека, очищает душу и тело. Она приучает трудиться, а труд – как молитва...”

На хуторе том лошадка у двора, собака у крыльца, звон твоего молота по наковальне или в твоих же руках звон бруска по косе...

- Женя, ты спишь? – донеслось с надувного матраца.

- Нет.

- Я вот думаю: хорошо бы ребят наших туда.

- Пусть ищут свой хуторок, - проворчал он через некоторое время.

- Они не умеют, Женя! – сказала виновато мать этих оболтусов.

- Как это не умеют? – удивился Евгений Вадимыч: ему не приходила в голову такая простая мысль.

- Да вот так.

- А ты? – спросил он после паузы.

- Что я?

- Разве и ты не умеешь? Там же рядом должен быть еще один островок, на нем живет плечистый бородатый мужик, без хозяйки мается. У него корова недоена, печь нетоплена...

Татьяна озадаченно помолчала, потом сказала:

- Нет, Женя, я без тебя никуда. Мне ни бритого, ни бородатого не надо.

- Да ведь это просто так... как игра, забава. Снотворное на ночь.

Сказал, а сам подумал иначе: может, построить и ей домишко на хуторке?

- Ладно, - сказал он великодушно, уже засыпая. – Там места и тебе хватит.

Он слышал, как Татьяна смеялась в подушку...

...но слышал и петушиный крик в хutorке, щебет ласточек над обрывом, жужжанье пчел, шелест ветерка в листве.

Там было раннее утро. Солнца еще не видать, но облака уже зарумянились с одного краю, как пироги в печи от жаратка с углями. Обильная роса лежала на траве, и туман стлался в низинке, где ручей впадал в речку. Нарядный петух вышел со двора, посмотрел строго и дерзко, по-мушкетерски, и пропел, будто на поединок вызывал.

У каждого были свои заботы: Евгений Вадимыч запрягал лошадь в плуг. Мила вышла на крылечко проводить его и наблюдала, как он управляет с упряжью. Она сильно сомневалась, что это у него получится, не говоря уж о том, что пахарь он, конечно, аховый.

- Не страдай, - сказал он ей. – Нормальный мужик в пределах своей мужской профессии должен уметь делать все: и дом построить, и землю пахать...

Дернул вожжи, лошадка тронулась со двора, волоча за собой плуг.

- Печь истоплю и принесу тебе поесть, - напутствовала его Мила. – Нынче ватруху с черникой испеку, ты такую любишь.

- Ватруху надо еще заработать, - сказал он полушутя, полусерьезно.

По дороге неторной, пересеченной толстыми корнями деревьев, как рука жилами, глухо стучал волочившийся плуг. Птицы щебетали упоенно – самый радостный для них час: весь лес будто смеялся этим птичьим щебетом. Белка смотрела на человека и лошадку с нижних веток, не боясь... Вот и поляна широкая, мелкий ельничек по опушке – тут Евгений Вадимыч остановился. Зеленая клеверная отавка ровно стлалась по полю – клевер здесь уж третий год. Значит, задача такая: к Спасу-медовому вспахать, а к Спасу-яблочному засеять озимой рожью.

Солнце уже золотило верхушки деревьев: проспал пахарь, пораньше надо было вставать!

- Ну, - сказал Евгений Вадимыч сурово и осенил себя широким крестом. – Господи, благослови.

Никогда раньше он не крестился, а тут как-то само собой к месту пришлось.

1992 г.